



ПРЕДИСЛОВИЕ К НАСТОЯЩЕМУ ИЗДАНИЮ

Со времени написания романов «Тульский — Токарев» и «Свой — Чужой» минуло полтора десятка лет. За эти годы изменилось очень многое — и в стране, и в мире, и в нас самих. Тем не менее, я считаю, что эти романы нельзя назвать устаревшими. Конечно, само Время, среду, в которых разворачиваются события, уже можно отнести к ушедшей натуре, но не они были первой производной творческого замысла. Эти романы прежде всего о людях, о человеческих взаимоотношениях и нравственном выборе. Работая над ними, я пытался добиться ощущения максимальной сопричастности к происходящему, с тем, чтобы по прочтении у читателя осталось послевкусие в виде невольного размышления о том, как бы он сам поступил, оказавшись в подобных ситуациях. Да, как автор я даю ответы на этот вопрос, но это вовсе не означает, что эти ответы правильные. В идеале читатель должен решить для себя сам.

Знаю, многие современные читатели воспринимают меня в первую очередь как создателя литературной основы телевизионной криминальной саги «Бандитский Петербург», действие которой разворачивается на фоне лихих 90-х. Мне подобное восприятие не очень нравится. Но так оно сложилось, и при таком подходе можно сказать, что роман «Тульский — Токарев» — это, условно говоря, предисловие к 90-м, а «Свой — Чужой» — эпилог к ним. К слову, оба романа также были экранизированы,

поэтому читатель, заботами загруженный или просто ленивый, может их не прочесть, а посмотреть. Но лично я от этих экранизаций не в восторге, мне кажется, в обоих случаях создатели так и не поняли основные идеи романов.

«Тульский — Токарев» — это история про Абсолютное Зло, с которым можно справиться лишь одним способом — всем миром навалившись. Да и тогда не факт, что получится. Плюс в данном случае мне захотелось поиграть в настоящего маньяка, так что этот роман — определенного рода фантазия, но фантазия, основанная на абсолютных реалиях ленинградского уголовного розыска. В этой связи мне было лестно узнать, что «Тульский — Токарев» стал в определенной степени культовой книгой в среде сотрудников уголовного розыска, чего я, признаться, никак не ожидал.

А вот «Свой — Чужой» это история про то, как заканчивается История. Здесь — не по-фукуямовски, а по... «бандитско-петербургски». Это время умирания недолгой (и слава богу!) эпохи, когда правили бал главари ОПГ и те сотрудники милиции, которые мало чем от этих главарей отличались. Это история о столкновении двух идеологий, о том, как трудно порой отличить «своих» от «чужих», о том, что в нашей национальной ментальности «соблазн товарищества» (по Толстому), свой или чужой подчас важнее, чем правда-неправда. А еще «Свой — Чужой» — это печальный роман о невероятном, «арктическом» одиночестве Героя, чего опять-таки не поняли создатели одноименного сериала.

*Андрей Константинов
Санкт-Петербург
20 декабря 2021 года*

АВТОРСКОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ

Эта книга, которую Вы, Уважаемый Читатель, держите сейчас в руках, далась нам нелегко. Нам — потому что делал я ее вместе с Евгением Вышенковым, моим другом, с которым в 1980 году мы поступили на восточный факультет Ленинградского университета. Я потом стал военным переводчиком, а Евгений ушел работать в уголовный розыск. Много чего случилось в наших жилах, прежде чем мы стали работать вместе в Агентстве Журналистских расследований — я директором, а Евгений — заместителем директора. Приключений разных было много — и смешных, и страшных. Всяких. В том числе и таких, о которых не хочется вспоминать. Если Вы, Уважаемый Читатель, знакомы с романом «Мент» — то Вам, наверное, любопытно будет узнать, что прототипом Александра Зверева как раз и был Евгений. Он не захотел, чтобы его имя было вынесено на обложку. Почему — думаю, об этом надо спросить его самого. Я лично объясняю это специфическими особенностями его характера. Имеет право. Тем более, что у меня характер тоже не сахар.

Нам было интересно работать, и это было честное соавторство. Что из нашей работы получилось — судить Вам, Уважаемый Читатель.

Если кто-то заметит в книге что-то очень знакомое и лично его касающееся — сразу предупреждаю, что книга все-таки художественное произведение, а стало быть, ее фактура не может быть использована в суде. Заранее прошу прощения за использование грубых и ненормативных выражений — но из песни слова не выкинешь,

некоторые фразы иначе просто не построишь. Вернее — построить-то можно, но такая «политкорректная» переделка, с моей точки зрения, будет попахивать ханжеством. Некоторые истории можно рассказать только специфическим языком, особенно если рассказывается мужская история...

*Андрей Константинов
Санкт-Петербург
15 февраля 2003 года*

Книга 1

СЕМИДЕСЯТЫЕ,
ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ

ЧАСТЬ I

СЕМИДЕСЯТЫЕ

...Кажется, что давно это было, очень давно. И не потому, что с тех пор прошло много лет, а потому, что тогда была другая цивилизация. Жизнь устраивалась и складывалась совсем по-другому. И Петербург уже и еще назывался Ленинградом. Это был другой век и совсем другая жизнь... Она была настолько другой, что много лет спустя, уже в самом начале следующего века, один из героев этой истории в разговоре с приятелем случайно обмолвился, вспоминая учебу в школе, из которой выпустился в «олимпийском» восьмидесятом году: «А я не помню, каким был тогда... Каким-то другим, а каким — не помню... Это ж так давно было — еще до войны»... Сказал — и осекся, смутился, потому что ни в Афганистане, ни в Чечне, ни в иных-прочих интернациональных и горячих точках не был. Но собеседник понял: «Все ты правильно сказал. Действительно, — до войны... Какая разница, как ее называть — гражданская, бандитская или социальная...»

Да, это было другое время и другая музыка жизни... Но Город все равно был Питером, и Васильевский остров так же называли Васькой. И еще было много того, что осталось и сохранилось, — но спряталось потом до поры, до того момента, когда понадобится вспомнить... и увидеть мосты в то время, которое никуда не исчезло. Главное — это выбрать правильный мост и успеть пройти по нему в правильном темпе.

Итак, Питер, Васильевский остров, семидесятые...

Жили тогда на Острове (а именно так, кстати говоря, многие жители Васьки и называли свой район) два мальчика — очень не похожие друг на друга, родившиеся в разных семьях и по-разному воспитывавшиеся. Но оба они с раннего детства не любили, чтобы их называли мальчиками, предпочитая слышать другие слова: ребята, пацаны или еще какие-то — не в словах, в общем-то, суть... Они росли, не зная друг друга, и при всей несхожести жизней детство у обоих было счастливым, правда, оба они об этом совершенно не задумывались. До поры... Одного из них звали Артуром Тульским, а второго — Артемом Токаревым. И, естественно, оба они даже и догадываться не могли, что Судьба свяжет их в неразвязываемый узел.

Тульский — Токарев... Если убрать тире, то получится словосочетание, ставшее культовым с конца восьмидесятых и в течение почти всех девяностых не только в Питере, но и по всей России, потому что именно так звучит полное название пистолета «ТТ», излюбленного оружия киллеров и братков всех мастей, полюбивших в годы Великой Криминальной Войны «тэтэху» за высокую убойную силу (бронезилет как иглой прошивался), за дешевизну и доступность. Всего этого мальчики знать в начале семидесятых, естественно, не могли. Да и не только они — кто, в каком мистическом бреде мог тогда нафантазировать, что Город сложит две судьбы, чтобы получить необходимое оружие, — хотя бы для одного, но беспощадного выстрела...

Был, правда, и еще один мальчик — также ровесник Тульского и Токарева и, не появившись он на свете, может быть, и не было бы необходимости двум судьбам сливаться в одно оружие (у Судьбы ведь не только орудия есть, имеется и оружие), но... Но не хочется пока называть имени этого третьего. Рассказываемая история — это история Тульского — Токарева, а третьему в ней достанется место похожего на тире прочерка...

ТУЛЬСКИЙ

10 апреля 1972 г.

Ленинград, В. О., Галерная гавань

Обыкновенный питерский двор-колодец жил своей обыкновенной жизнью. Чуть ли не треть окон завешано разнотонным, но в целом почему-то бесцветным бельем на просушке, приглашивавшим звуки коммунальных кухонь и впитывавшим вылетавшие оттуда же запахи — очень разные, но с преобладанием аромата жаренной на шипящем сале картошки. В таких дворах почти никогда не бывает тихо, хотя шумы смысловые (вроде женского голоса, звавшего Леву домой немедленно) прорезали фоновый гул-ворчание не так уж и часто. В Питере климат не разрешает кричать долго и много, как на Юге, — горло застудить легко. В Питере принято разговаривать приглушенно — как правило, потому что бывает, естественно, по-всякому...

Вот и шпанская гаванская ватага, приютившаяся на разжеванных скисшим снегом скамейках во дворе, вела себя не шумно. Кто-то забыл, а многие и не знали никогда, что питерские шпанские ватаги того времени были почти национальностью, — с характерными отличительными чертами.

Непередаваемые ухмылки, сопровождаемые неподражаемым сплевыванием через зуб — догадайся с двух заходов, сколько раз нужно было без очевидцев цыкнуть, упражняясь, чтобы потом плевков в обществе получился естественным и уместным? Да при этом нужно было еще ненавязчиво и тактично продемонстрировать забытые ныне фиксы — целая наука... А кепки? Правильно их носить могла только шпана, потому что лишь настоящий матрос умеет, не надрываясь, удерживать на затылке бескозырку.

А еще шпана умела говорить глазами, и взгляды их школьницы из приличных семей не держали.

Почти на всю скамейку разбушлатился посреди молодых взрослых мужчина — не молодой и не старый, но вряд ли бы кто дал ему уже прожитые сорок пять — а сколько из них он подарил Хозяину, надо было проверять по специальным учетам.

Взрослый пользовался многими именами, но звали его Варшавой, и он был настоящим вором, потому что и воры бывают по-настоящему талантливыми в своем деле. Легенд о нем ходило много; рассказывали, например, что в ресторанах умел Варшава перекусывать зубами золотые цепочки с полных шей взопревших от волнения торговых дам. Если кто не верит — может проэкспериментировать, чтобы убедиться — умение такое враз не выстрадаетшь. А если оставить сдачу романтике — то был Варшава правильным вором, то есть таким, который к слову «карман» ну никак не мог добавить прилагательное «чужой», который если уж вынимал из кармана финку — то не для того, чтобы «попужать». Жизнь за Варшавой угадывалась страшная, но на широту его души не повлияло (вернее — повлияло в плюс) то, сколько раз он был бит и проловлен.

Варшава мог легко, с настроения, «отломить» местной бабушке все вот только сейчас «воткнутые» дензнаки — без свидетелей и бубнового будущего интереса. Наворочавшись на нарах, навывывавшись и выковавшись в Личность, Варшава легко, порой с одного взгляда, делил сотрудников милиции на «цветных» и «лежавых», причем к последним, как это ни странно, в глубине души относился с симпатией. Бывалый взгляд мог увидеть за его обтянутыми сухой, словно дубленой, кожей скулами несколько этапов в сталинских эшелонах. Сам же Варшава умел смотреть собеседнику сквозь лицо, упираясь в затылок. От такого взгляда становилось крайне неудобно, казалось, что он мог видеть дырки на носках через ботинки. Разговаривать с ним было непросто, потому что стержень разговора он хватал сразу и потом буквально наматывал на этот стержень фразы — и свои, и собеседника. Интересная у него имелась привычка: в словесном споре Варшава откидывался чуть назад,

прикрывал ладонью глаза, потом раздвигал пальцы, прищуривался-прицеливался в просвет, а потом, растягивая по-блатному гласные, начинал вдруг швырять (как поленья) короткие и очень емкие мысли.

Несмотря на все прожитое, тело вора оставалось сильным и витым, но без дерганой лагерной истеричности, а ростом он вышел выше среднего. Силу давала горячая кровь, полная энергии, и нутро, рожденное быть зависимым только от своей совести. Интересно, что за все лагерные годы, когда холодно было лишь летом, а зимой — жутко, он не приобрел ни одной чернильной точки под кожей. Этим, кстати, несмотря на ортодоксальную воровскую татуировочную традицию, заслужил себе Варшава скрытое и не всегда приятное уважение своих.

На его мировоззрение сильно повлияли два устных рассказа и одна книга. Он был восьмилетним беспризорником, когда услышал случайно и запомнил сетования старого вора: «...раскатали веру, як тесто. Можно политических щемить теперича! И это — дошло до того, что блатные святую пайку отбирают у очкариков!»¹ Трясина... Если гэпэушники потекают — значит, их выгода! А на кону-то: вору исполняют волю власти... Конец идее. Мне — скоро в рай. Вам хлебать».

Много позже, на пересылке в Ивдельяге, зацепил ухом Варшава второй рассказ — и тоже о блатном и об Идее: «...Чилиту расстреляли через несколько месяцев, но уже в Ветлаге. Он филонить стал при кочегарке и убил какого-то ээка, закопал его в снегу, отрезал по кускам и ел. Вскрыли это случайно. Начальник 20-го лагпункта Вет-лага с оперуполномоченным Мисиным дали команду его расстрелять. Не судили, вывели прямо за КСП... Ой, как он кричал!»

В Ивдельяге Варшава еще застал булькающую в крови, отворенной заточками, сучью войну — там он окончательно все понял про Воровскую Идею. Изменить, однако, он ничего не пытался... Что же касается книги,

¹ По воровскому закону хлебная пайка считается неприкосновенной.

которая помогла ему выстроить внутренний мир, то это был «Морской волк» Джека Лондона. Впервые прочитав ее еще в досудимом возрасте, Варшава много раз потом перечитывал этот роман в лагерях.

Во двореике, среди молодежи, Варшава оказался не случайно: именно этот двор был ему особенно дорог (хотя он сам и не согласился бы с таким утверждением), поэтому инстинктивно он часто назначал серьезные встречи именно здесь. Может быть, даже слишком часто — но ведь он не был профессиональным разведчиком...

А дожидался Варшава двух жуликов с улицы Шкапина, они днем раньше интересно предложились. А от Варшавы зависело решение — его прерогативой было произнести необратимое «ДЕЛАЕМ». Однако что-то в этом предложении Варшаву настораживало. Хотя предлагали не сберкассу лохматить, а реальное — ломануть дачу известного хирурга, профессора медицины Годлевского. Кураж-то был, но чуйка беспокоила... А Варшава всегда боялся перепутать чутье с обычным страхом. Вор что-то говорил, улыбаясь, пацанятам, вившимся вокруг него, а сам напряженно думал: «За дачу светилы Крошка поет кудряво. И вор Кроха хваткий. Что ж сам-то не слазает, зачем в долю позвал? Устал? Это ладно... А вот в глаза не дает забегать... Надо бы об душе навести справки...»

Вор досадливо встряхнул головой и сказал, как сплюнул:

— Докука — метнулся!

Юркий паренек прямо с корточек одним движением перевалил через штaketник и побежал за водкой. Варшава улыбнулся и подмигнул самому младшему в ватажке — беленькому пареньку лет десяти, смотревшему на вора широко распахнутыми серыми обожающими глазами. Из-за этого пацаненка, жившего в седьмом подъезде на третьем этаже вдвоем с матерью, Варшаву и тянуло именно в этот двор.

Взгляд вора, в котором было много невысказанного, перехватил молоденький «крадун» по прозвищу Обоснуй — из тех, кто подхватывает на лету и далеко идет во всем.